

М и х а и л В а й с к о п ф

БРАК С ВЛАСТЕЛИНОМ:
Эротические аспекты державной риторики

1

Эта статья представляет собой развитие некоторых положений, выдвинутых мною ранее в книге о Маяковском и других работах¹. Речь идет об образе императора или повелителя, вступающего в брак с Россией, причем страну может замещать тот или иной герой либо лирический субъект, представляющий от сообщества подданных. Намечу лишь узловые моменты этой обширной темы, предварив ее двумя замечаниями.

Понятно, что здесь подразумевается брак или соитие заведомо условное, метафорическое. Но эти уподобления — отнюдь не пустые фигуры речи (даже если считать, что таковые существуют), а эстетически препарированные реликты древних и необычайно живучих мифологических моделей. Мера их актуализации варьируется соответственно историческим потребностям и риторическим предпочтениям, но сами они неустранимы и, даже пребывая в дремотном состоянии, жаждут только сигнала к пробуждению. В России такие сигналы подавались с величайшей охотой.

Сложнее ответить на вопрос о том, насколько эта сексуально-монархическая риторика присуща именно «закрытому» обществу. Безусловно, само представление о государстве как семейном, интимном союзе подданных и монарха как нельзя лучше соответствовало именно изоляционистским установкам. («Патриархальную» модель, рисуемую правителя в качестве «отца нации», я рассматриваю лишь как усеченную версию общей матримонимальной схемы, деликатно приглушающую ее сексуальную подоплеку; впрочем, патриархальная модель нередко соседствовала с эротической.) Но та же интимно-семейная аура не была противопоказана и вполне либеральным монархиям британского или скандинавского типов. Очевидно, суть вопроса — в степени авторитарности того или иного социального устройства: чем она выше, тем ревнивее и опасливее относится данный режим к чуждым идеологическим и культурным воздействиям и тем охотнее использует для своей защиты «семейную» метафорику. Много лет назад я видел передачу Би-би-си о выборах в Гане. Один из местных жителей, отвечая на вопрос о том, почему в стране отсутствуют альтернативные кандидаты и оппозиционные партии, проникновенно разъяснил тележурналисту: «Понимаешь, ведь у человека отец только один, верно? А отец — это президент. И мать у человека только одна, верно? А мать — это партия».

Идеология «закрытого» общества тем не менее может превосходно ужиться с экспансионистскими вожделениями, то есть со стремлением максимально расширить собственное пространство, сохранив одновременно его спасительную обособленность. Подобная двойственность отличала, например, николаевскую цивилизацию, соединявшую в себе крайне настороженное отношение к внешнему миру с крепнувшей верой во всемирное на-

1 Отрицательный ландшафт: имперская мифология в «Мертвых душах»; Солнцев дом Веры Павловны; Во весь логос: религия Маяковского // Вайскопф М. Птица тройка и колесница души. М.: НЛО, 2003.

значение России. Более впечатляющий пример такой двуплановости дает советская идеология 1920-х годов, в которой «закрытость» носила на первых порах вовсе не локально-патриотический, а международно-классовый характер: всемирное братство угнетенных, возглавляемое пролетарской партией и ее обожаемыми вождями, противостояло столь же интернациональным силам контрреволюции. Со временем это противоборство приняло черты советского патриотизма, который совмещал в себе изоляционистскую манию с тотальной агрессией против «капиталистического мира». В определенном смысле сталинский режим гротескно утрировал здесь двойственные — центростремительную и центробежную — тенденции николаевской эпохи.

2

В России образ властителя подавался в разных, хотя и взаимосвязанных, эротических планах. Прежде всего, в согласии с древней языческой трактовкой, унаследованной и российской, и общеевропейской традицией, монарх, воплотивший в себе солярное божество, небесного воителя и гаранта плодородия², брачается со своей землей, страной или городом. Вместе с тем, как не раз писалось³, царь почитался на Руси и земным «образом» христианского Бога. Но — какого именно? Вопрос этот носит далеко не праздный характер, если принять во внимание функциональную разнородность двух лиц — Св. Троицы: Бога Отца и Сына. Помимо прочего, первый из них в пророческих книгах Библии предстает метафорическим супругом собственного народа — общины Израиля (Knesset Israel)⁴, и в данном статусе он, конечно, сопоставим с языческим божеством — супругом и покровителем родного этноса или города. Но и второй — Бог Сын — тоже наделен матримонимальными полномочиями. Согласно апостолу Павлу (Еф. 5:30), земной невестой Спасителя является Церковь как вселенская община христиан, она же соборное Тело Христово (I Кор. 12:27). Иными словами, Церковь, объявленная новым Израилем, в этом брачном союзе замещала Израиль «ветхий», наследуя его женскую роль. Интериоризация схемы

2 См.: *Зицер Эрнст*. Царство преображения: Священная пародия и царская харизма при дворе Петра Великого / Пер. с англ. К. Осповата. М.: НЛО, 2008. С. 165 и сл. (глава «Царь-Фаллос»).

3 См.: *Живов В.М., Успенский Б.А.* Царь и Бог (Семиотические аспекты сакрализации монарха в России) // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. М., 1996; *Успенский Б.А.* Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998; см. также: *Андреева Л.А.* Сакрализация власти в истории христианской цивилизации: латинский Запад и православный Восток. М., 2007.

4 См.: *The Wisdom of the Zohar: An Antology of Texts*. Vol. 1 / Arranged by F. Lachower and I. Tishby. Oxford University Press, 1991. P. 363—364. Функциональным аналогом Общины Израиля выступали Шехина (как женский аспект Божества) или царица-Шаббат. См., в частности: *Патай Рафаэль*. Иудейская богиня / Пер. с англ. Екатеринбург, 2005. С. 106, 273 и сл. Обстоятельный и вместе с тем полемический обзор всей этой темы развернут в капитальном исследовании: *Idel Moshe*. Kabbala and Eros. New Haven; London: Yale University Press, 2005. P. 25—30, 50, 77—78, 108.

привела и к тому, что с Невестой Христовой отождествлялась также душа индивидуального христианина, взыскующая Жениха Небесного. Во многих мистических движениях, включая те, что захлестнули Россию в александровский ее период, культивировался соответствующий молитвенно-эротический экстаз, нередко обретавший гомосексуальные обертоны — в частности, под влиянием популярнейшей книги «Imitatio Christi», приписывавшейся Фоме Кемпийскому⁵.

Церковь, в свою очередь, олицетворялась, как известно, Пресвятой Девой, которая принимала на себя и роль «новой Евы»; Христос же интерпретировался в качестве «нового Адама». Я оставляю в стороне весьма прозрачный инцестуальный аспект данной аллегорике (ибо в Ветхом Завете Адам и Ева — это муж и жена); но стоит указать на смежный парадокс, значимый для дальнейшего изложения. В различных верованиях и мифологических конструкциях божественный супруг чаще всего выступает в амплуа создателя или отца (прародителя) собственной жены. Этот теологический инцест, превосходно известный религиоведам⁶, в российской монархической метафорике переносится на взаимоотношения властителя с державой, считавшейся его порождением или созданием.

Адаптируя и языческую, и библейские модели, монархическая риторика закрепляла за Россией несколько матримониальных функций. Она изображалась одновременно и чадородной женой, оплодотворяемой обожаемым государем, и прямым адекватом древней Общины Израиля, словно брачующейся с Творцом, и страной, томящейся по Жениху Небесному, воплощенному в его августейшем заместителе. То приветствие, которым находчивый Феофан Прокопович сумел ублажить Петра, внезапно зашедшего на его ночную пирушку: «Се жених грядет во полнощи», — было не только окказиональной репликой из арсенала *parodia sacra*: оно стало торжественной формулой, надолго закрепившейся в национальном сознании. Спустя много лет Державин писал об отдаленном преемнике первого императора: «Россия ныне, как невеста, / Ждет с брачным жениха венцом» («Глас Санкт-Петербургского общества»)⁷.

В риторическом обиходе перечисленные модели легко смешивались между собой или накладывались друг на друга. Так, у кн. Ширинского-Шихматова Москва «приемлет и объемлет лоном / Властителя полных царств», то есть Петра Великого. Полночные царства — это, конечно, северный, в тогдашней терминологии — «полночный», край, или же Россия. Но тут просвечивает и аллюзия все на то же евангельское речение о Христе как «женихе полуночном», которого замещает русский монарх. При этом антураж встречи ориентирован одновременно и на рождественский сюжет, и на продуцирующую магию монаршей благодати: «Младенцы, у сосцов висящи, / Очами радуют Петра».

У В. Петрова в «Плаче и утешении России к Его Императорскому Величеству» образ страны вбирает в себя, наряду с языческими, христианские коннотации. Империя, подменившая собой церковь, рисуется здесь и

5 См. в моей статье: «Вот эвхаристия другая...»: Религиозная эротика в творчестве Пушкина // Вайскопф М. Птица тройка и колесница души. С. 31.

6 См., например: Франк-Каменецкий И.Г. Пророки и чудотворцы // Колесница Иеговы: Труды по библейской мифологии. М., 2004. С. 59.

7 Здесь и далее в статье опущены библиографические ссылки на общеизвестные и общедоступные тексты.

как соборное «тело» самого государя, и как его невеста. Сперва она говорит Павлу: «Я тело, ты душа; мы оба неразлучны», — а затем предлагает ему себя в брачной функции: «Обынешь тело все России». Самодержавный супруг наделяется и чертами Творца-вседержителя, даровавшего жизнь этой новой Еве: «Ей Павел бытие дает».

Со временем барочная эклектика, изначально востребованная императорским культом в России, приглушалась, а вместе с ней уходила в тень и языческая его сторона. Вернее сказать, она ассимилировалась с ветхозаветной парадигмой. Приметы Творца, грозного библейского судии и Саваофа, экранировались на законодательную, государственную и военную деятельность царя — зато его собственно человеческая сущность окрашивалась евангельским колоритом. Вот как, например, изображен император Павел у Державина: «По долгу строг и правосуден, / Но нежен, милостив душой». Сходное сочетание закона и благодати сохранилось в образности и риторике русской литературы вплоть до ленинианы 1920-х годов.

По ряду причин наиболее интенсивно вся эта культовая тематика развернулась в России при Николае I. С ним, в частности, ассоциировалась в поэзии того времени креационистская миссия Бога Отца. К примеру, Федор Рындовский в 1832 году посвящает царю свою поэму «Сотворение мира». Неизвестный мне автор «солдатской сказки» «Царские палаты», подписавшийся *i* (возможно, это был Платон Яковлев), делает государя творцом особого, российского космоса, изолированного от других миров. Так переосмыслено у него знаменитое воссоздание сгоревшего в 1837 году Зимнего дворца, поразившее иностранцев. Дворец изображается как возникшая по манию царя-зодчего вселенная, со своими собственными светилами: «Зодчий промаха не дал / (Как фельдфебель, был удал), / Солнце ввел и запер зал». Более того, согласно автору «сказки», могучая Россия может вобрать в себя прочие страны, забросив их столицы в сибирскую ссылку: «А рукою богатырской — / И подумать... задрожит: / Лондон-город и Париж / Зашвырнет за край сибирский»⁸.

Эффективным стимулом для расцвета подобных панегириков, заполнивших русскую печать, была тогдашняя установка на сакрализацию всех государственных структур. Характерна, в частности, позиция ревельского журнала «Радуга», который сочетал в себе русские охранительно-националистические амбиции с пиетистским напором, унаследованным от александровской эпохи. В публикациях 1833 года журнал приравнял чиновничью службу к богослужению, а само государство (вместо Церкви) — к Телу Христову⁹.

3

Инстинктивно приспособив к своим пропагандистским потребностям неизбывную связь религии, особенно молитвенного экстаза, с эротикой, николаевский режим опирался и на лирический опыт романтизма, литературная гегемония которого пришлась на первую половину того же царствования и который этот религиозно-сексуальный синтез использовал в совершенно других видах. Романтическая школа перевела сакральные обозначения в

8 Русский вестник. 1841. Т. 1. № 1. С. 13, 14.

9 Радуга. 1833. Кн. 1. С. 61.

сферу своей любовной топики, сообщив ей молитвенную тональность. Влиятельнейшим образчиком такого сдвига на долгие десятилетия стало в России эротическое томление пушкинской Татьяны и ее письмо к Онегину, где тот рисовался в облике ангела-хранителя или, лучше сказать, жениха небесного¹⁰. Но и безотносительно к этому тексту, вызвавшему множество подражаний, сакрализация любовного чувства была столь же общей приметой романтизма, как и подхваченная им эротизация религии.

Казенные дифирамбы, также создававшиеся романтиками, с легкостью переадресовывали этот молитвенно-эротический настрой, отстоявшийся в лирике, обожаемой особе императора, наделяя его совершенством Богочеловека и неотразимым мужским обаянием. Такой подход сказывался в самых разных нарративах. Даже насквозь прозаическая, но зато истово раболепная «Северная пчела» находит государя «очаровательным»¹¹. Ей вторит А. Папкович в стихотворении «Военная песня»:

Вот раздался голос чистый;
Как знаком нам этот глас!
Как он, звонко-серебристый,
Мил и радостен для нас!

А величье, а осанка,
А орлиные глаза...
*Все для сердца в Нем приманка,
Все в Нем диво и краса.*

Кто в подлунной с Ним сравнится,
Телом, духом исполин,
Взглянет — сердце веселится,
Вырастает на аршин¹².

Как видим, стихи содержат открытую аллюзию на библейские формулы, которые говорят о неизмеримом превосходстве Бога Израиля над другими, языческими богами (Пс. 70:19; 85:8). Эти реминисценции — общее место верноподданнических жанров. Если для Папковича Николай краше всех под луной, то в «Царских палатах» его статьям дивятся даже небесные силы: «И Российского Царя, / Молодца, богатыря / Грудь и очи соколины / Превозносят в небесах»¹³.

Общеизвестно, что в николаевской культуре (у М. Погодина и многих других авторов) Россия все настойчивее преподносится как Новый Израиль. Эта, уже традиционная, самоидентификация, однако, отсылала не столько к христианскому образу Церкви, сколько к ветхозаветному национальному избранничеству, унаследованному Русью. Эротические мотивы черпаются все же из обоих Заветов (хотя обычно с некоторым преобладанием Ветхого). В монархической мистерии Н. Станкевича «Избранный»

10 См. об этом в моих статьях: «Вот эвхаристия другая...». С. 40–43; Голубь и лилия: романтический сюжет о девушке, обретающей творческий дар // Шиповник: Историко-филологический сборник к 60-летию Р.Д. Тименчика. М.: Водолей, 2005. С. 31.

11 Северная пчела. 1832. № 230.

12 Киевлянин на 1840 г. Кн. 1. Киев, 1840. С. 176. Здесь и далее во всех цитатах курсив мой. — М.В.

13 Русский вестник. 1841. Т. 1. № 1. С. 12.

МИХАИЛ ВАЙСКОПФ

(1830) воцарение Михаила Романова рисуется как сошествие небесного жениха, дополненное мотивами Синайского откровения. В знаменитой опере М. Глинки «Жизнь за царя» (1836), созданной под присмотром императора, основатель династии весьма отчетливо соотносен с Николаем I, а сам сюжет перенасыщен матримониальной аллегорикой. В либретто, написанном бар. Розеном, тема брачного союза государя с русским народом подчеркнута соотносена со свадьбой сусанинской дочери Антонида. По своему жениху она томится точно так же, как Русская земля изнывает по своему суженому — юному царю, и эта параллель нагнетается с топорным усердием, доводящим ее до прямого тождества:

Жениха невеста ждет,
Жениха и Русь зовет!
Час настал, жених грядет! <...>
Здравствуй, суженый! Здравствуй, ряженный!
Други ждут тебя, девица ждет!¹⁴

Русь избирает Михаила взамен постылого королевича Владислава, которого тщетно пытается навязать ей в мужа иноверческая Польша.

Остзейская муза русского патриотизма, водившая рукой барона Розена, лишь варьировала тему, заданную несколько раньше Нестором Кукольников в его столь же официозной драме «Рука Всевышнего Отечество спасла», посвященной Смутному времени. Если в Ветхом Завете беды и крушение Израиля являются карой за маловерие, отступничество от Бога и отказ от храмовой службы (а все это вместе соотносено с супружеской изменой), то у Кукольника русский Израиль претерпел наказание за отступничество от своих *царей*, а богослужение напрямую заменено государственной службой:

То Божий перст карал вас за неверность,
За легкомыслие, за страх, за ропот!
Вы отвращались сердцем от царей,
Вы не хотели служб служить, как должно...

По счастью, Русь раскаялась, и Господь внял ее молитвам:

Исполнилось Господнее веленье!
«Восстани, Русь!» — рече Творец с небес;
И встала Русь, как юная девица,
Под радостный убранный венец <...>
Прошла гроза! Бог лик свой обратил,
Да узрит Русь во брачном торжестве <...>
Да снова Русь на лоне Государя
Согреется, окрепнет, расцветет!

Итак, брачный венец отождествлен тут с царским, тогда как царь приобщен к Господу и, в сущности, Его заменяет: «И помните! Кого Господь венчал, / Кого Господь помазал на державу, / Тот приобщен Его небесной силой, / Тот высший дух, уже не человек, / Хотя хранит обыкновенный образ. / Мы постигать умом не можем таинств, / Так слепо веровать должны»¹⁵.

¹⁴ *Розен, бар.* Жизнь за царя. СПб., 1876. С. 9, 10.

¹⁵ *Кукольник Н.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 1. СПб., 1851. С. 224–225, 237.

Николаевский режим вообще поощрял страстное начальстволюбие¹⁶, и порой оно изливалось тем восторгом, который переполнял душу гоголевского чиновника из «Тяжбы»: «Чувствуешь такое какое-то эдакое неизъяснимое удовольствие, как будто или жена в первый раз сына родила, или министр поцеловал». В драме Кукольника «Иван Рябов» (1839) один из персонажей, лоцман Антип, восторженно вспоминает о том, как его обლობызал царь Петр: «Ну, знаешь, этакое счастье и во сне увидишь, так проснешься, да с койки мячиком спрыгнешь, а тут этакое диво да наяву! <...> А он меня поймал в царские ручки да и чмок в самый лоб <...> А уши, знаешь, между собою так и перекликаются: эка милость, эка счастье, эка благодать!..»¹⁷

Император выступает как идеальный супруг для своих подданных обоюпо пола¹⁸. Сошлюсь хотя бы на стихотворение М. Маркова «Русский царь», которым открывается восьмой том «Библиотеки для чтения» за 1835 год:

Кто все дела Твои расскажет,
Могучий Севера Герой?
Жена обиженная кажет
В пример супругу образ Твой, —
И он дрожит от укоризны.
Ты учишь жить сынов отчизны.
Как сладко пламенной душой
Тебя любить, Тебе дивиться
И за Тебя Творцу молиться:
Да век для нас он продлит Твой!¹⁹

Пред- и пореформенная эпоха, с ее гласностью, скепсисом, иронией и духом позитивизма, на несколько десятилетий привившая подданным гражданские инстинкты и чувство собственного достоинства, не слишком благоприятствовала сервильным словоизлияниям. В шестидесятые и семидесятые годы XIX века наметилась необратимая эрозия монархического культа.

16 В таком контексте очень характерно, что С. Раич в статье «Петрарка и Ломоносов» сблизил двух этих поэтов на следующем основании: «Для Петрарки идеалом высшей любви была Лаура, для Ломоносова идеалом высшего уважения был *Петр* и *Елисавета*» // Северная лира на 1827 г. М., 1984. С. 39 (курсив ориг.). Ср. иронический отклик Пушкина на эту параллель (Там же. С. 300).

17 *Кукольник Н.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 523.

18 Об образе Николая I как идеального супруга см.: *Уортман Р.* Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. М., 2002. С. 431, 435.

19 Еще до того, воспевая подавление польского восстания 1830—1831 годов, Марков приравнял любовное сожительство с полькой к измене родному монарху. Возлюбленная уговаривает русского офицера остаться у нее, а тем самым пренебречь своим воинским долгом. Герой гневно ей отвечает: «Иль ты, жестокая, забыла, / Что Русский сердцем и душой / Теперь беседует с тобой; / Что он за блага всей вселенной / И даже за любовь твою / Не выдаст родину свою, / Не прогневит Царя изменой!» (*Марков М.* Мятажники. Повесть, взятая из войн с польскими мятежниками. СПб., 1832. С. 94).

МИХАИЛ ВАЙСКОПФ

Однако старые модели возродились в трансформированном виде после октябрьского переворота, причем возрождению их мощно содействовал квазирелигиозный пафос, присущий раннему большевизму. Никуда не ушло, разумеется, и пылкое начальствлюбие, принимавшее теперь формы, запечатленные, скажем, в такой частушке первой половины 1920-х годов: «Я в своей красоте полностью уверена: / Если Троцкий не возьмет, / Выйду за Чичерина». У Безыменского прежняя Россия, влюбленная в государя, замещается пролетарской страной, а сам государь замещен Троцким:

О, что же делать мне со мной?
 Что делать мне, мой край заводский?
 Хочу сказать «Любимый мой»,
 А выговариваю «Троцкий»²⁰.

Традиционная двойственность монархического образа, соединяющего в себе грозного Саваофа с кротким Богочеловеком, у Маяковского и ряда других авторов переносится теперь на Ленина: «Он к товарищу милел людскою лаской, / Он к врагу вставал железа тверже». Именно в этом христологическом контексте подавались его простота, скромность и внешняя неказистость, иногда, впрочем, озадачивавшая панегиристов — например, Сергея Есенина, который выразил свое недоумение в строках, вызвавших понятное раздражение у большевистских критиков:

И не носил он тех волос,
 Что льют успех на женщин томных:
 Он с лысиною, как поднос,
 Глядел скромней из самых скромных.

Куда почтительнее трактовал ленинскую внешность пролетарский поэт А. Иркутов:

Так вот и будем мысленно
 Видеть повсюду мы
 Эту мудрую лысину
 Гениальной головы²¹.

Для страстной мужской любви лысина препятствием вовсе не была, судя по повести А. Аросева «Недавние дни»: «И от этого горячего Ленина, от его изборожденного, песчаного лица, от простых глаз, не то огневых, не то коричневых, от всей его плотной фигуры, на Андроникова опять нашло то странное закружение, которое обнимало его по-особенному, человеческого, по-родному»²².

Временами эротизированное изображение вождя весьма демонстративно зывало к евангельским сценам и соответствующей иконографии, как это происходит, например, у Бонч-Бруевича, видного специалиста по сектантской мистике. В его брошюре «Три покушения на В.И. Ленина» рисуется своего рода Снятие с креста, причем страдальческая сцена обогащена гомо-

20 *Безыменский А.* Партбилет № 224332: Стихи о Ленине. Харьков, 1925. С. 40.

21 В.И. Ленин в поэзии рабочих / Сост. О. Цехновицер, М. Скрипиль. Л., 1925. С. 15.

22 Цит. по: *Цехновицер О.* Образ Ленина в советской художественной литературе // Там же. С. 11.

Брак с властелином...

сексуальными обертонами во вкусе Фомы Кемпийского. В согласии с каноном Rieta, «плотная фигура» упитанного Ильича спиритуально истончается и освобождается от покровов, что вызывает избыточный энтузиазм у автора:

Худенькое, *обнаженное тело* Владимира Ильича, беспомощно *распластавшееся на кровати*, — он лежал навзничь, *чуть прикрытый*, — склоненная немного набок голова, смертельно бледное, скорбное лицо, капли крупного пота, выступившие на лбу, — все это было так ужасно, так безмерно больно <...> А он, немощный *и обнаженный*, лежал тихо, спокойно, из его уст не выходило ни одного звука, хотя всем было ясно, сколь тяжелы и ужасны его страдания²³.

Мне уже приходилось отмечать, что Маяковский в своей поэме о Ленине рисует создание им большевистской партии, следуя экзегезе апостола Павла. Гимн партии открывается словами «Плохо человеку, когда он один», то есть прямой цитатой из Книги Бытия, где говорится о сотворении Евы: «Не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). Иначе говоря, РКП трактуется как новая, ленинская Ева, она же его Церковь, она же соборное тело пролетариата (рука, плечи, «спинной хребет рабочего класса»). Рапповский поэт С. Малахов даже трансплантировал черты Ленина в образ партии, не то соперничающей, не то отождествляемой с возлюбленной лирического героя:

У моей любимой глаза оленя
И черная луком бровь.
А партия взглянет глазами Ленина,
И под откосом моя любовь.

Ильич выглядывает здесь из самых интимных участков ее тела, о чем внятно говорят стихи, приглашающие к элементарной психоаналитической расшифровке:

У нее на курчавых кольцах платок
Дразнится красным пятном.
У нее не юбок шуршащий шелк,
А Ульянова пятый том²⁴.

В послеленинский период монархическая любовная лирика постепенно рассредоточивается за утратой объекта. Неуклонно теряет власть, а вместе с ней и сексуальную притягательность Троцкий. Зато эротическая тема отсвечивает порой в пародиях — например, в «Зависти» Ю. Олеси, где в сгущенно-гормональной ауре подается образ Андрея Бабичева — «государственного человека, члена правительства» (биография которого, кстати сказать, кодирует ленинскую): «Это образцовая мужская особь <...> Пах его великолепен. Нежная подпалина. Заповедный уголок. Пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда». Между тем, несмотря на эти свои мужские стати, «член правительства» в плотское общение с женщинами так и не вступает,

23 *Бонч-Бруевич В.* Три покушения на В.И. Ленина. М., 1930. С. 84–85.

24 См.: *Вайскопф М.* Во весь логос: религия Маяковского // Птица тройка и колесница души. С. 438–440.

обзаводится механическим приемом, а вместо детей рождает колбасу. Это странное обстоятельство сопряжено было, очевидно, с внутренним противоречием, свойственным всей «Культуре Два». С одной стороны, как давно указал В. Паперный, она была одержима пафосом «жизни» и плодородия²⁵, с другой — в ней неуклонно реставрировались консервативные тенденции, табуировавшие сексуальную тематику в сколько-нибудь откровенных проявлениях. Надвигалось время всеобщей принудительной чопорности, одним из вестников которой у Ильфа и Петрова стал тот редактор, который полагал, что «члену правительства целоваться неприлично».

Казенное целомудрие, насаждавшееся Сталиным, отвечало и его кавказскому культурному фону, и семинаристской выучке, и аскетическим традициям народничества, частично удерживавшимся в большевизме даже в период общей сексуальной разнузданности революционных лет. Генсек бдительно следил за тем, чтобы отчетливо эротическая окраска не проникала в его ставший культовым образ²⁶. Конструируя свое амплуа в качестве «Ленина сегодня», он решительно отказывается тем не менее от роли страдающего божества, отводившейся его предшественнику. Сталин узурпирует только одну — силовую ипостась двуединого образа монарха, присвоив себе статус Саваофа, карателя и дарителя. Но у этого бога-отца нет эротической партнерши. Партия — либо мать, либо, чаще, детище вождя, но никак не его супруга, как это было с Лениным в поэме Маяковского. В литературных сочинениях и на картинах Сталин предстает одиноким стражем и гарантом всесоюзного процветания — напомним о фильме «Падение Берлина», где он показан в облике садовника. И все же эротическая составляющая удерживается в самой памяти культово-монархических жанров и порой проникает в сталинский образ, хотя и в затухшем виде. Характерен в этом смысле послевоенный фильм «Клятва», где вождь пребывает в задушевном общении с некой мудрой и обаятельной женщиной, которая, несомненно, олицетворяет Россию.

К шестидесятилетию генсека была написана и вскоре переведена на русский язык эпопея Георгия Леонидзе «Сталин» (награжденная Сталинской премией II степени). Рождение и младенчество будущего вождя поданы здесь в ореоле богородичных ассоциаций, маскирующих эротическую энергию сцены. Вожделение переносится с фигуры божественного младенца на его кормящую мать: «Мать к груди подносит сына. / Алый рот слился с соском»²⁷. Вероятно, тогдашнему читателю требовалось некое тревожное усилие, дабы представить себе, что этот рот, прильнувший к соску, принадлежит товарищу Сталину.

Государственные сосцы получали в сталинскую эпоху и куда более зловещее освещение. На них покушались враги социалистической родины,

25 Паперный В. Культура Два. М., 1996. С. 160–161.

26 Теме связи власти и эротики в кинематографе сталинской эпохи посвящена часть специального номера журнала «Studies in Russian and Soviet Cinema» (Bristol) (2009. August. Vol. 3. № 2). Составитель номера — Андрей Щербенок.

27 Леонидзе Г. Сталин: Эпопея. Кн. 1: Детство и отрочество / Пер. с грузинского Г. Цагарели. Тбилиси, 1944. С. 34. Как об исключении, связанном с вторжением личностного начала в общеэпический настрой сталинианы, упоминает об этом сочинении и К. Богданов в своей статье «Самый человеческий человек» (Веселье человечки: Культурные герои советского детства. М.: НЛО, 2008. С. 80).

вознамерившиеся погубить руководство, то есть духовных и материальных кормильцев страны. Я имею в виду дело профессора Плетнева, которого в годину Большого террора обвинили вместе с докторами Левиным и Казаковым во вредительском лечении и умерщвлении Горького, Куйбышева и Менжинского. Этому обвинению предшествовало другое: 8 июня 1937 года в «Правде» вышла пресловутая статья «Профессор — насильник и садист». Плетневу инкриминировали то, что на приеме он искушал груди некоей гражданки Б., нанеся ее здоровью невосполнимый урон²⁸.

Я убежден, что непосредственным толчком для возникновения этой криминальной легенды послужил опыт нацистской пропаганды, оприходованный Сталиным. Ведь точно такие же инсинуации, только направленные против врачей-евреев, на немецкий идеологический рынок в изобилии поставлял знаменитый антисемитский порнографический еженедельник «Штюрмер» Юлиуса Штрайхера, причем с наибольшим размахом — как раз в 1936—1937 годах, вскоре после Нюрнбергских законов, резко активизировавших борьбу за чистоту «немецкой чести и крови».

Позволю себе еще одно отступление, впрочем, вписывающееся в тематический спектр этого номера. На мой взгляд, к немецким же источникам, правда, иного толка, в какой-то мере восходит и пресловутое «дело врачей». Психологическим импульсом для Сталина должна была послужить темная карьера доктора Теодора Морелля, личного врача Гитлера. Долгие годы он пичкал фюрера лекарствами, оказывавшими на того губительное действие. Другие врачи считали Морелля опасным шарлатаном, но их протесты и предостережения Гитлер решительно игнорировал. По данным разведки, Сталин, несомненно, был в курсе этой «вредительской» деятельности, сведения о которой к тому же широко распространялись в западных послевоенных публикациях. Уже в 1947 году вышла ставшая весьма популярной книга английского разведчика и историка Х.Р. Тревор-Роупера «Последние дни Гитлера», где подробно рассказывалась история Морелля²⁹.

5

Возвращаясь к основной теме моей статьи, я должен добавить, что и в послесталинское время нерушимо сохранялась установка на десексуализацию руководства. Соответствующие темы были задействованы лишь антисоветской литературой (они разрабатывались, например, в повести Ю. Даниэля «Человек из МИНАПа» или в «Палисандрии» С. Соколова).

28 Ср., однако, свидетельство известного патологоанатома Рапопорта: «Я знал эту гр-ку Б. Она была репортером одной из московских газет (кажется, «Труд») <...> Внешность ее отнюдь не вызывала никаких сексуальных эмоций и даже не ассоциировалась с такой возможностью. Это была женщина лет сорока с удивительно непривлекательной и неопрятной внешностью <...> Кусать ее можно было только в целях самозащиты, когда другие средства самообороны от нее были исчерпаны или недоступны» (*Рапопорт Я.Л. На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года.* СПб.: Пушкинский фонд, 2003. С. 15).

29 *Trevor-Roper H.R. The Last Days of Hitler.* L., 1947. О работе советской разведки в Германии см., в частности: *Судоплатов П. Спецоперации. Лубянка и Кремль: 1930—1950 годы.* М., 1998. С. 191—250, 453—459 (о работе токсикологической «Лаборатории X» и об умерщвлениях, замаскированных под лечение).

Неодолимым препятствием был здесь уже сам облик Хрущева, менее всего располагавший к сексуальной восторженности, затем помехой служили комические повадки, а позднее и дряхлость его преемников.

Конечно, весь этот вопрос требует дополнительного изучения, но кажется, что в ельцинской России хаотический демократизм президента, его равнодушие к панегирикам и терпимость к критике не дали по-настоящему сформироваться новому культу вместе с его эротическими компонентами. Однако после отставки Ельцина картина ощутимо меняется, о чем свидетельствует хотя бы песня Александра Елина «Я хочу такого, как Путин», задуманная как пародия, но воспринятая совершенно всерьез и набравшая неимоверную популярность. Сам автор, разумеется, понятия не имел о своем отдаленном предшественнике, восславившем Николая I в уже цитированных мною стихах: «Жена обиженная жает / В пример супругу образ твой». Перед нами память монархического жанра в его чистом виде.

А. Елин и мои московские друзья указали мне также на другой пародийный выброс верноподданнической эротики. Это песня Алексея Кортнева из пьесы «День выборов». У деревенских девок по какой-то непонятной причине «не было оргазма», и в этой беде им не могли помочь ни врачи, ни ворожеи, ни артисты, ни даже сам Шойгу из МЧС. Вся надежда — на президента:

И сказал тогда народ:
«Путина харизма
Очень сильную дает
Встряску организму».
<...>
Девки глянули в окно —
А в окне все ближе
Едет Путин в кимоно
И на горных лыжах.
Девки выскочили вон,
В чем их мать родила.
Поглядел на девок он...
Тут их и накрыло!

Если не говорить о пародиях, то большинство приведенных мною примеров монархической лирики относятся, увы, к разряду благонамеренной графомании. Отраднo поэтому расслышать отголоски русской классики, когда они доносятся сквозь завалы панегирической макулатуры.

Упомянутая «Военная песня» Папковича, восхвалявшая Николая, заканчивалась строфой: «С Ним бы век не расставаться! / Сердце просит одного: / *Все б глядеть и любоваться, / Все бы слушать нам Его*». Я нахожу здесь знаменательное структурное схождение с пушкинскими строками, опубликованными значительно позже: «Забыл бы всех желаний трепет, / Мечтою б целый мир назвал, / *И все бы слушал этот лепет, / Все б эти ножки целовал*».

Поэма Есенина «Ленин» обрывается на словах: «Народ стонал, и в эту жуть / Страна ждала кого-нибудь... / *И он пришел*». Прямой источник этих стихов — другое пушкинское описание, ставшее, как уже говорилось, парадигмой эротической грезы: «Давно сердечное томленье / Теснило ей младую грудь, / Душа ждала... *кого-нибудь, // И дождалась*». Этой обнадеживающей цитате осталось найти актуальное политическое применение.